

VII

Жаркий полдень. Монотонно звенят колокольчики под дугой; еле перебирают лошадки ногами, подбрасывая пыль по дороге и поматывая мохнатыми головами в такт бегу. Покачивается плетушка из стороны в сторону, подскакивая на выбоинах, и голова откидывается назад, и раскрываются глаза. Все то же: бесконечные зеленые полосы, то узкие, то широкие, то бледные, то яркие, черная пахота, на горизонте — ветрянки-мельницы с простертыми к небу крыльями и кайма далекого леса... Все разомлели — и седок, и ямщик, и лошади: я — в сонной дреме грежу о темной ночи на пароходке, о золотистой косе, о синих глазах; ямщик — в полной нирване; лошади, должно быть, мечтают о прохладной конюшне, душистом сене, овсе и холодной воде... Жарко. Раскрыв рот и распутив крылья, сидят на пахоте вороны и лениво, нехотя поднимаются при нашем приближении... И так идет час и другой... Вдруг лают собаки. Что такое? Раскрываю глаза: деревня.

— Какая деревня?

— Не узнал? Овинники!

— А Ключи?

— Проехали. Вон они где остались!..

Скоро дом. Улетает дрема, мысли о родном доме начинают мешать мыслям о прошлом... Поднялись на гору, въехали в сосновый бор.

Здравствуй, бор! Ты все тот же, так же вечно рвешься вершинами к небесам и ползаешь кор-

нями по земле, протягиваешь на дорогу к людям свои мохнатые лапы и щедро разбрасываешь желтые смолистые шишки... Ты все тот же, а вот я... Я — другой! Раньше я больше всего любил побыть наедине с тобой, послушать, как ты шумишь в ветер и шепчешься с дождем. Больше всего на свете любил я тебя, ружье и собаку, белую умную Джальму!.. А теперь... Изменил я всем вам, больше всех и всего на свете люблю теперь одну девушку — ее зовут Зоей!..

— Зо-я! — закричал я в бор, и он начал шептать что-то, бросил в меня сухой желтой шишкой и удалил мохнатой колючей лапой по шляпе.

— Ничего, брат, не поделаешь: судьба!

— Ну-ну, шагайте по-лошадински! Недалечко уж... Дождичка бы, барин, надо...

— С удовольствием бы, да не могу, братец!..

— Хм... Чудной! Я про Бога, а ты... Что человек может? Пыль мы с тобой... Хм... Ехал я наемни с вашей сродственницей, с... Как ее? Мудрено зовут. Чай, знаешь?

— А-а! С Калерией Владимировной?

— Вот-вот!.. Имечко придумали.

— Ну!

— Ну, разговорились. То да се... В Елшанке молодой мужик топором свою бабу зарубил... По этому случаю разговор-то... — За что? — спрашивает. — С другим, баю, пымал, с парнем. — Кого — спрашивает — жалеешь: жену



— Дурак не разберется, а если в голове кое-что есть...

— Да ведь и черт-то, братец, не дурак, а, пожалуй, и поумнее нас с тобой... Выбери — которая стеснительная, которая глаз зря не пялит на тебя и Бога боится... А уж которая говорит: «Бог не исправник, а я — вольная», от такой надо подальше... А тоже — красивая из себя эта гостья у вас! Тоже, поди, какой-нибудь думал, что Бог ему в награду послал... Сказывают — мужняя жена беглая... А я поглядел: черт в ней сидит...

— Как же ты это узнал?

— Я-то? Хм!.. Смех у ней нехороший, и в глазах один блуд... Из себя черная, как ворон, язык стыда не знает, и глаза — тоже... И душа в ней — черная, поверь моему слову!.. Вот таких-то черт и подсовывает нашему брату... В грехе соришь с этойкой... От нее так и палит огнем... Сижу на козлах, разговариваем, а в спину от ее глаза да от языка грех входит...

Ямщик сплюнул и потихоньку замурлыкал тягучую грустную песенку...

А мои мысли опять полетели назад и кружились около моего белого голубя... Белая!.. Она вся белая, светлая, чистая! Она — от Бога... Я перекрестился и прошептал:

— Благодарю Тебя, Господи!

Потом вынул из бокового кармана записную книжку и трясущимися руками достал спрятанный здесь портрет Зои. Чем дольше я смотрел на портрет, тем он более оживал... Милое, дорогое лицо!.. Кротко и доверчиво смотрят на меня радостные глаза, и легкая тень улыбки приветствует и ласкает восторженную душу. Я приближаю портрет к своему лицу, и мне чудится, что глаза раскрываются шире и губы начинают вздрагивать и что-то хотят сказать мне...

— Здравствуй, голубь! Ты меня помнишь, не забыла? Да!.. Конечно!..

Прикладываю портрет к губам и закрываю глаза.

— Вон она! Верхом... как мужик!

Проворно прячу портрет...

— Она и есть!..

— Кто?

— Гляди вперед! Она!.. Ровно казак. Хм!..

Далеко впереди, навстречу нам, чрез ровные стволы высоких сосен, выезжал верхом на гнедой лошади гордый всадник, похожий на пажу из оперы: желтые ботфорты, шляпа с пером, левая рука на талии, на груди ярко-красное пятно...

— Не мужик и не баба... — промычал ямщик.

— Это... разве это — женщина?

али мужа? — Я, то есть. — Мужа, баю. — Почему? — За ее грех, баю, страдание примет и на земли, и на небеси: здесь в каторге, а там в огонь вечный. А она, стерва, смертью, кровью своей на том свете оправдается: получила свое!..

— Ну!

— А она, это твоя сродственница-то, и говорит: коли мужа не любишь, так можно с другим... То есть путаться... А Бог-то, баю! А что, бает, Он, Бог-то, исправник, что ли? Кого хочу, того и люблю... Это, бает, моя воля...

С этого начался наш разговор с ямщиком о любви.

— Одна любовь, барин, от Бога, а другая от черта. Коли заслужил перед Господом — Он тебе хорошую бабу предоставит, а не заслужил, за это дело черт возьмется...

— Ну!

— Он, черт-то, такую тебе подсунет, что либо сам повесишься, либо ее прикончишь. На земле всю жисть промаешься, да и на тоем свету поплачешь. Баба, брат, дело сурьезное!..

Захотелось мне сказать ямщику, что я уже полюбил, что я уже получил от Бога «бабу» и счастлив.

— Я, брат, понимаю... Невеста у меня есть... Хорошая, красивая, умная...

— Дай Бог! А только то в расчет прими, что куда не поживешь с ней — не хвастайся: оно после откроется — от Бога али от черта твоя любовь. Черт, братец, такого туману напустит, что не сразу разберешься...

Я рассердился на ямщика:

Ямщик обернулся и бросил злым шепотом:

— Она это, ваша гостья!..

— Калерия?

Всадник прищипнул лошадь и галопом помчался нам навстречу. Не знаю почему — я почувствовал вдруг робость и опустил глаза. Звонко постукивали подковы о переползавшие через дорогу корни старых сосен, и мой страх возрастал по мере приближения всадника. Словно навстречу нам мчался поезд, и грозило неминуемое столкновение. Уже близко... Слышно, как храпит взмыленная лошадь...

— Тпру! Здравствуйте, Геня!

Круто повернула лошадь и поехала совсем рядом, протянула руку, крепко затянутую темной лайковой перчаткой.

— Созрел? Поздравляю! Я выехала тебя встречать... Ты недоволен?

— Благодарю!.. Мама здорова?

— Да... Не совсем, как все дамы на возрасте, но... Посмотри на меня! Мне хочется хорошенько рассмотреть своего брата... хоть и троюродного... А, уже усы! Молодцом! Ты выглядишь совсем мужчиной...

Меня разбирала злость: она говорит со мной, как с мальчиком, на «ты», прищуривает глаза, рассматривая меня, как неодушевленный предмет, забрасывает глупыми вопросами и хохочет на весь лес.

— Ты любишь верхом?

— Нет. Я предпочитаю прогулки пешком, с ружьем и собакой.

— Надеюсь, что иногда ты не откажешься, кроме этих своих друзей, захватить еще и третьего, то есть меня? Я люблю скитаться по лесу.

— Я охотник серьезный. Вы за мной не угонитесь.

— Почему же — «вы»? Я тебе разрешаю говорить мне «ты».

Я окончательно рассердился.

— Из женщин я говорю на «ты» только с матерью да еще с...

— С кем еще?

— С той, которую люблю...

Она весело расхохоталась:

— Ну, хорошо: давай на «вы»!.. Вы кого же любите?

— Калерия Владимировна! Вы мне не нравитесь.

— Почему? А мне все говорят, что я очень красива.

— Я — не о наружности... Я не люблю шутить над... Вообще я серьезнее, чем кажусь вам... Вы меня простите, но я просто не умею поддерживать пустых разговоров...

— Вы даже не умеете быть вежливым... Но со временем мы этому научимся...

— Хорошо. Только не теперь...

Калерия больно ударила свою лошадь хлыстом и помчалась вихрем по дороге. Заклубилась впереди пыль, засверкали лошадиные ноги подковами, и скоро пропал в соснах этот странный всадник.

— Видел? Черт, а не баба!.. — обернувшись, сказал ямщик и, покачав головой, добавил:

— Ловко ты ее отбрил! До новых веников не забудет! Давай покурим, что ли...

Ямщик пустил лошадок шагом и, свертывая цыгарку, все радовался и хихикал. А я молчал и все еще не мог опомниться от нападения. Думал о ней. Действительно, красивая. Нерусский тип. Лицо смуглое, матовое, глаза как у красивой японки, волосы черные, как смола в расколе; на верхней губе — усики. Длинная шея слегка наклонена вперед; капризный, раздражающий голос и смех... Что-то неприятное есть в этом смехе. Просто нахальный смех.

— А тоже учит вежливости! — вслух проворчал я.

Выехали из лесу: сразу масса света и необъятный простор. Зеленые луга перерезаны, словно парчовой серебряной лентой, рекою, а за рекою — пологие горы и на них — верхушка церкви и верхушки ветряных мельниц. А вон и наш липовый парк, в котором прячется наша старая усадьба!..

— Вон уж где она, шельма, скачет! — сказал ямщик, показывая кнутом за реку. — Черт, а не баба... Ей-богу!.. Ну-ка, милые, повеселей!

Он ударил по кореннику, подхлестнул пристяжку — и бодро запели под дугой колокольчики, и плавно и быстро покатился тарантас по гладкой и ровной дороге...

VIII

Я поместился в садовой беседке, плотно окруженной густой разросшейся сиренью. Здесь лучше. В старом доме мрачно, там притаилось разрушение. Все покосилось, скрипит, шатается, полно старыми тетками, от которых пахнет лампадным маслом и нафталином. Там постоянно кричит благим матом грудной ребенок Калерии Владимировны, которого она отучает от материнского молока чуть не с самого дня рождения; там — и она, Калерия...

А здесь спокойно, тихо и одиноко. Сам себе господин; живи по-своему. Никому не мешаешь и тебе никто. Да и привык я к маленьким комнатам. Беседка наполовину из стекол; есть много побитых. Заклеил газетами почти все стекла, а

целая и незамеченная сторона обращена к забору в переулок, заросший репьем, лопухами и крапивой. Турецкий диван — моя постель. Две липовых кадочки из-под меда — мои пуфы, огромный старомодный письменный стол и... качалка! Это — мама: «мало, говорит, у тебя мебели»...

— В другой раз сядешь да покачаешься... Любил ее покойный отец... А ей она не нужна... Я думала, ребенка будут качать, а она... Она против качания... По-новому... Голодом морит...

— Ты отняла ее у Калерии? Ей-богу, мне она не нужна, эта качалка!..

— Ну, все равно... Пусть лучше у тебя... Не хочу...

В общем недурно. Ружье и охотничьи принадлежности на стене, коврик и на нем собака, белая Джальма, а в окно глядят кусты сирени. Но главное — стол. Тут — уголок души: портрет Зои и любимые книги. Портрет всегда в цветах, в массивной рамке из белого клена. Ах, еще — гитара! Здесь в беседке в тихую теплую ночь, когда все уснет, струны гитары звучат как-то особенно мягко и нежно, и я люблю иногда в лунную ночь прислушиваться к минорным аккордам струн и потихоньку, чтобы никто не слышал, пожаловаться тихой ночи на свою тоску по Зое и на свое одиночество: тихо и жалобно подпеваю плачущей гитаре... Импровизирую, обращаясь с упреками к Зое и к Богу... Все нет еще письма!.. Забыла... Ставлю перед собой портрет Зои, беру гитару, настраиваю ее на минор и, слабо трогая струны, грустным тенорком тяну:

«Ты не могла понять меня, понять моей любви...»

И мне так жалко делается себя, что слезы начинают медленно катиться по щекам.

«Зачем, зачем ты не сказала, что...»

Обрываю романс, облокачиваюсь обеими руками на стол и пристально, с укором, смотрю на портрет Зои...

— Смеешься?.. Эх, ты!

Однажды, вот именно в такой момент и в таком настроении, в тихую звездную полночь, я брэнчал на гитаре и жалобно подпевал: «ты не могла понять меня, понять моей любви»; вдруг прозвучал иронический возглас под раскрытым окном:

— Недурно!

Словно оборвались струны гитары... Я смолк и прикрыл огонь лампы. К сожалению, ночь была лунная, и я еще явственнее увидел то, от чего хотел спрятаться: в раме окна, в освещенной лунным светом листве, стояла смуглая Калерия и насмешливо улыбалась.

— Подслушиваете? Очень благородное занятие!

— Подслушивают, когда люди — вдвоем. А вы — один... Впрочем, с гитарой!..

— Ну, подглядываете. Это все равно.

— И опять неудачно: подглядывают молча, а я не молчу и не прячусь. Мне просто скучно, не спится... Я гуляла по саду и испугалась ежа или ящерицы... Увидала у вас огонь и вот... стою. Если помешала — скажите; уйду...

— Собственно... нет. Я ничего не делал, чтобы жаловаться на...

— Вы играли на гитаре. Поэтому я и не побоялась помешать вам.

Калерия облокотилась на подоконник, вдвинулась всем корпусом в мою комнату, обвела ее взглядом.

— По-студенчески... Моя качалка! А я думаю, куда она делась?..

— Это — мама... Мне она не нужна. Возьмите и качайтесь!

— Мерси! Качайтесь сами. Я успела уже в жизни покачаться... А вот чему можно позавидовать, так это вашему дивану. Так и тянет посидеть... с ногами... Можно?

— Пожалуйста! — сказал я и торопливо поднял фитиль лампы.

Зашаталась и заглянула сирень в окно, а Калерия исчезла. «Вот черт принес!» — подумал я со злостью и только было намеревался спрятать портрет Зои, как распахнулась дверь и появилась Калерия. Приподняв над головой ярко-пунцовый шелковый шарф, она манерно раскланялась и подошла к столу:

— Она?

— Что — «она»?

— Которой вы говорите «ты»?.. В цветах — это хорошо, а рамку надо поэтичнее.

Она склонилась над столом и стала разглядывать портрет; ее плечо касалось моего, и, косясь вбок, я видел ее щеку и губы с черненькими усиками.

— Миленькая... Хотя... Ничего загадочного... «Ты будешь — верная супруга и добродетельная мать...» А впрочем, не по хорошему мил, а по милу хорош... Я лучше посижу на этом великолепном диване, а вы побрячтите на гитаре и спойте жестокий романс...

— Ничего я не спую. Не так настроен.

— Будет дуться!

— Почему вы так презрительно говорите о добродетельных матерях?

— Потому что сама я очень скверная... Не знаю, почему, но я, Геня, не чувствую никакой любви

к своему ребеночку... Так, кусочек мяса... Хотела бы, но нет... Иногда обманываю себя, муслю ему щеки, лялькаю, говорю «милый», а в душе чувствую, что не трогает... Так же я любила своего мужа... Полялькаю и поймаю себя на лжи перед собою... Вы созрели? Вас не смущает такой разговор? — спросила она вдруг, подбирая под себя ноги.

— Нет. Я достаточно вырос и... вообще...

— Здесь страшно говорить с людьми искренно. Всякая правда встречается с удивленными глазами, словно о ней никогда в жизни ничего никто не знал и не слышал. А иногда так хочется кому-нибудь сказать именно то самое, что думаешь... Пусть это будет глупо, неприлично, не принято... Когда вы при первой же встрече сказали: «Вы мне не нравитесь», — сперва мне было немножко обидно, а потом, когда я ускакала от вас и стала обдумывать, — мне страшно понравилось... Вы — храбрый!..

— Такая храбрость не требует особенной храбрости...

— Однако! Не всякий скажет в глаза красивой женщине, что... Ведь я все-таки красива? Посмотрите!

Она сбросила с головы пунцовый шарф за шею и, опираясь же на него, неподвижно остановила на мне глаза. Я взглянул и потупился...

— Да, вы...

— Красивая? Ну конечно! Я красивее той, которая там... у вас на столе...

— Нет! — твердо и убежденно кинул я к дивану.

— Не разглядели еще... Ну, для первого визита довольно!..

Она встала с дивана, потянулась и накинула шарф на голову.

— Не хочется спать... Боюсь одна, а ужасно люблю бродить по саду ночью... Все странно в саду ночью: и деревья, и дорожки, и шорохи, и тени... И сама жизнь начинает казаться какой-то загадкой. Хотите, погуляем?..

Я не хотел, я уже снова злился и возмущался, как это она не видит...

— Я?... Пора бы, собственно, спать...

— Ну, немножечко!.. Тура два по старой аллее... Там так страшно!

Она подхватила меня под руку и повлекла к двери.

— Позвольте! Шляпу надо...

— Совершенно излишне. У вас целый стог волос... какая там шляпа!

Пошли.

— Ах, как страшно! — шептала Калерия и крепко прижималась к моей руке. — Идем туда, под горку, в старые липы, где баня... Бррр! В бане — черти... оборотни... Ай!

Она вдруг вскрикнула, шарахнулась в сторону и потянула за собой меня.

— Что вы! Это — лягушка.

— Тише: кто-то идет вон там, между деревьями...

— Куст это, куст!



— Держите меня крепче: тогда не так страшно... Говорите что-нибудь!

— Не о чем.

— Тсс! Что это... пицци? Слышите?

— Кошка.

Мы приостановились и прислушались.

— Ах, это — мой Вовка! Проснулся... Есть просит... Проводите... Скорей!..

Мы повернулись к дому и быстро зашагали по аллее.

— Спокойной ночи! Думайте обо мне! — небрежно кинула Калерия и, выдернув свою руку, быстро вбежала по ступенькам крыльца и пропала.

«Сумасшедшая или просто... дрянь» — думал я, возвращаясь к себе в беседку. А когда разделся и лег, то вспомнил, что забыл проститься с Зоей.

— Милая! Святая моя! Спокойной ночи!..

Вскочил с дивана, поцеловал портрет и вернулся. Шелестела за окном листва сирени, и мне все чудилось, что там, за окном, кто-то стоит и смотрит...

IX

Письмо! Письмо!..

От нее! От нее!..

Я бросил обед, убежал в сад и, спрятавшись в кустах, разорвал конверт. «Милый, родной мой! Забыл ты меня. Грех тебе так мучить... А может быть, ты нездоров? — тогда прости мой глупый упрек, но я исстрадалась. Мама, глядя на мою печаль, сердится и все расспрашивает, что случилось. А я ношу втайне печаль. Вчера ночью поплакала. Вот какой ты нехороший! А говорил что...»

Что же это значит? Я написал ей уже два огромных письма.

— Геня, иди! Мы тебя ждем.

— Не ждите!

«Расстраивается наше счастье: мама и слышать не хочет о том, что я осенью снова уеду в Казань на курсы... Может быть, нескоро уже увидимся, а то и никогда...»

— Геннадий!

— Кушайте, Калерия, без меня!

«Напиши, утешь!.. Господи, что-то с нами будет? Папа словно догадывается, что я жду твоего письма: велел всю почту класть к себе на стол...»

Воруют письма папочка с мамочкой. Теперь понятно.

«Не придумая, что делать... Тоска, тоска, тоска!.. Сильно люблю, целую, часто вижу во сне и благословляю тебя. Твоя Зоя».

— Мама велела приводем!

Я, как вор, спрятал письмо в руке и вышел из кустов злой, что мне мешают, а Калерия подхватила меня под руку и повлекла на террасу.

— Что же это вы, как собака с костью, убежали с письмом в кустики...

— Пустите меня!..

— Не пущу! Мама велела привести и посадить мальчика на место.

— Оставьте! Не хочу.

Я злобно вырвал руку и пошел быстро вперед.

— Геннадий, вы мне сделали больно... Противный мальчишка!.. Получил письмо от своей курносенькой и думает, что...

— Не ваше дело!

За столом два пустых стула рядом. Ничего не поделаешь: сажусь рядом с Калерией. Смотрю только в тарелку. Избегаю прикосновений, но это не всегда удается. Пролил на скатерть соус. Калерия раскатилась звонким хохотом:

— Мы словно супруги в счастливом браке!

— Избави, Господи! — ворчу, косясь на соседку.

— Ему еще рано об этом думать, — одобряет мама, видимо рассердившаяся на неуместное сравнение.

Это задевает мое самолюбие и тайное сознание себя женихом Зои.

— Думать, мама, никому и ни о чем не возбраняется.

Калерия посмотрела на меня прищуренным взглядом и улыбнулась — одобрила. Уронила нож.

— Поднимите, пожалуйста!

Наклоняюсь, она гладит меня по голове теплой рукою:

— Пай-мальчик! Мерси!

Это и злит, и рождает приятность. Все-таки она очень красивая... Смотрю боком на Калерию... Какие губы... румянит она их, что ли? Оригинальный цвет кожи и... усики на приподнятой губе... Как это странно... Бывают персики розово-желтые, с пушком... Какие волосы красивые: черные, как смола, или бледно-желтые, отливающие золотом? Нет, золотистые — лучше!.. Заметила... Состроила гримасу и высунула кончик языка... Воображает, что залюбовался... Отвернулся, смотрю в окно через головы сидящих напротив:

— Что вы там увидели?

— Ничего особенного.

— От кого, Геня, письмо?

— От товарища, мама.

Опять хохочет.

— Завидую вашей веселости.

— А я вашему товарищу!

— А что такое, почему завидует Калерия?

— Об этом вы, мама, спросите у нее.

— Я?.. Потому что у меня нет подружки и не с кем переписываться...

Вывертливая, как налим. Никак не ухватишь. Смотрит и ядовито ухмыляется, вздрагивая верхней губой... У, животное! Красивое животное.

— Вовка плачет!..

Вылезает из-за стола и толкает ногу — я уверен, что нарочно: производит опыты... Ушла. Мама качает головой:

— Вовка у нее скоро умрет, а ей все смешно.

После обеда я ушел в свою келью, запер дверь и принялся снова за письмо; перечитывал, повторял: «Милый, родной мой!», всматривался в строки, в буквы, в бумагу, словно хотел прочесть еще что-то ненаписанное, тайное, что скрывалось от глаз... «Вчера ночью поплакала...» Вчера! Сколько времени шло письмо?.. Когда послано?.. Раскидываю умом. Плакала в ту самую ночь, когда здесь на диване сидела эта... С усами! Верю в предчувствие. В ту ночь был такой момент, когда я подумал, кто красивее: Зоя или эта... с усами?.. Какой я негодяй! Ты — святая, ты — чистая, как цветок после дождя, а эта... С усами — она только красивое животное, пожалуй, умное, хитрое, но все-таки животное. Как я, негодяй, смел вас сравнивать? Прости меня, прости! Несколько раз я вздрагивал от взглядов этого животного, и в душе моей становилось грязно... Ты прости мне это! Я не виноват. Ты добрая, как светлый ангел-хранитель, а я... я уже испорчен грязными мыслями. При тебе нет их, не будет, клянусь всей жизнью! — Я лег на диван и, уткнувшись лицом в подушку, заплакал тихими покаянными слезами... Потом почувствовал облегчение. Она простила... Стал писать письмо...

«Голубь, серебряный голубь с золотыми крыльями! Я ни на минуту не забывал тебя: ты со мной и днем, и ночью. Я пишу тебе уже третье письмо. Негодяи воруют мои письма. Кто они — не знаю, но если и на этот раз письмо попадет им в руки, то пусть они знают, что мы связаны жизнями так крепко, что никто не может украсть нашу любовь. Скверно, что твои папа и мама мешают тебе учиться, а нам любить и видеть друг друга. Но ведь с этим мы не можем мириться? Да? Мы не дети: тебе — семнадцать, а мне осенью будет двадцать один. У нас — своя жизнь... Осенью плюнь на все и приезжай в Казань. Чтобы оградить тебя от всяких насилий — повенчаемся, и конец...»

Я соскочил со стула и, поглаживая себя по закинутым назад волосам, стал ходить крупными шагами по комнате... Я был серьезен; мне казалось, что я уже женат, имею заботы и обязатель-

ства охранять любимое существо от обид, и это рождало во мне гордость и самоуважение.

— Моя жена — прекрасный человек!..

Я перебирал в памяти и обдумывал разные вопросы, связанные с превращением холостого в женатого, и ходил, ходил по комнате... Много забот и хлопот налегло вдруг мне на плечи. Придется все-таки прямо сказать матери: женюсь — и кончено!

— Мамочка, было бы тебе известно, что осенью — свадьба...

— Чья?

— Моя-с!

— Ты с ума сошел?!

— Пока еще нет. И т. д.

Подсел к столу, продолжаю письмо:

«О подвенечных платьях, вуалях и всякой ерунде — не заботься. Мы с тобой пойдем в какую-нибудь церковь вечером и скажем попу: так и так, окрутите, батюшка, без особенных церемоний; а упрется, так споем ему: "Нас не в церкви венчали"».

— Правильно!

Соскочил со стула, довольный своей решимостью, и запел:

Нас венчали не в церкви,

Не в венцах, не с свечами,

Нам не пели ни песен, ни обрядов венчальных.

И вдруг в саду — продолжение: Калерия поет:

Венчала нас полночь средь темного бора,

Свидетели были земля с небесами...

А хороший у нее голос! Она пела, а я слушал. Замолчала. Она воображает, что я буду продолжать. Ужасно хитрая баба. Лезет... Не знает, что придумать... Латинским хочу заниматься!.. На кой тебе черт — латинский?.. «Созреть желаю...» Учи, долби себе! Показать, объяснить, что понадобится, я не откажусь, но чтобы сидеть с тобой каждый день и смотреть в латинскую грамматику — слуга покорный!.. Не на такого напала. «Созревай» одна, а с меня достаточно: девять лет долбил... Опять запела... Бархатный голос... Вот шла бы на сцену... В оперетку... А то — латинский!..

Вечером велел запрячь лошадь в бегунки: собираюсь отвезти письмо на почту — до нее восемь верст. Подали лошадь, усаживаюсь, взял в руки вожжи. Калерия выходит на крыльцо и идет к бегункам:

— Я тоже еду.

— Во-первых, вдвоем на бегунках неудобно; во-вторых, зачем ехать двоим, когда можно поручить все дела одному?..

— Прекрасно. Оставайтесь, а я исполню ваше поручение. Давайте письмо!

Махнула рукой, чтобы я слезал, а сама приготовилась усесться.

— Ну, слезайте!

— Я должен сам...

— Не доверяете? В таком случае и я вам не доверяю...

Устраивается позади меня.

— Я села, можете ехать!..

Я злобно стегнул лошадь, она разом рванулась с места, и Калерия скатилась на траву.

— Дурак! — презрительно бросила она, поднимаясь на ноги, и пошла к крыльцу. А я еще сильнее ударил лошадь и уехал...

Х

Умер Вовочка!..

В большом зале, в переднем углу, под образами, лежал на ломберном столике замолчавший наконец Вовочка, и в старом доме как-то сразу стало тихо-тихо... Весь в белом, в кружевном капорчике с голубыми бантиками, он походил на сломанную игрушку, большую куклу, закрывшую глазки. Как маленький старичок, он сморщил и нахмурил свое личико и втянул посиневшие губки в беззубый рот. Никто не плачет, только говорят шепотом и ходят на цыпочках. Кротко мерцает лампадка и ласково смотрит на Вовочку Спаситель, благословляющий маленького гостя земли в далекий неведомый путь. Пришел, поплакал и ушел. Зачем?

Раскрыты окна. Солнышко золотит крашенный пол зала. Поют в саду птицы. Золотисто-розовый вечер не зовет к радостям жизни: все тянет в угрюмый большой зал к Вовочке, все тянет смотреть в это желтое восковое личико и понять что-то тайное в его выражении. Кто-то идет сюда мягкими шагами... Отхожу в задний угол, за рояль, и стою здесь, понурив голову. Тонкая, стройная Калерия, в черном платье, с опущенными руками, медленно подходит к Вовочке, не замечая моего присутствия... Остановилась, наклонилась над ребенком, поправила кружевца и выпрямилась, застыла с опущенной головой...

— Прости меня, Вовочка! — прошептала она, и белый платок мелькнул в ее руке и закрыл лицо... Плачет тихо, беззвучно, только вздрагиванием плеч...

— Я скверная...

Жалко, бесконечно жалко эту тихую страдающую красивую женщину в черном, раньше гордую своей красотой, а теперь кроткую, шепотом умоляющую маленького мертвого человека о прощении, втихомолку страдающую и плачущую беззвучными слезами... Как-то стыдно быть теперь в зале и смотреть... Калерия опустилась на колени, а я тихо, незаметно вышел на цыпочках из зала... Пусть побудет наедине с Вовочкой и поделится с ним своими тайнами... Какая она несчастная! Никто ее, видимо, не любит и ей тоже некого любить... Кто знает, что прячется в душе этой отталкивающей и притягивающей женщины?.. Быть может, она совсем не такая дурная, как о ней думают...

Ничто не изменилось в привычках нашей жизни со смертью Вовочки; все шло обычным порядком. Только Калерия не появлялась за столом во время чая, завтрака и обеда. И я как-то чувствовал ее отсутствие и замечал прежде всего пустой стул рядом. Как-то смутно беспокоил меня этот пустой стул и неволью заставлял думать о Калерии.

— Позовите Калерию Владимировну! — сказала однажды мама горничной, и я вздрогнул.

— Они у Вовочки, — прошептала горничная и не пошла.

— Есть все-таки необходимо, — сказал я мимоходом.

— Они не приказывают их беспокоить, когда у Вовочки.

Мама вздохнула и сказала:

— Что имеем — не храним, а потерявши — плачем. Когда жив был, так — не надо, а теперь...

— Как это жестоко, мама, говорить так!..

Все тетки поддержали маму: начали торопливо шепотом перечислять недостатки и грехи Калерии. «Эх вы, галки!» — подумал я, и мне захотелось наговорить им дерзких, обидных слов и заступиться за Калерию.

— Достойным и добродетельным теперь следует помолчать и предоставить суд над матерью Богу и мертвому сыну!..

— Защитник какой!.. Присяжный поверенный.

— Должно быть, по любовным делам... — в два голоса затараторили тетки. И это было так противно, что я встал из-за стола и, резко двинув стулом, ушел из столовой.

На второй день вечером ко мне в беседку вошла Калерия. Лицо у нее было строгое, глаза как-то тускло мерцали под полуопущенными ресницами, и во всей фигуре, тонкой и гибкой, как и в походке, была утомленная покорность и тихая печаль перед свершившимся...

— Гения! — сказала она просто и ласково. — Могу я попросить вас...

— Конечно, Калерия!..

— Мне хочется похоронить ребенка в ограде. Надо переговорить об этом с батюшкой. Мне тяжело самой... Может быть, вас не затруднит...

— Конечно!.. Сейчас поеду и...

Калерия опустила на диван и, закрывшись платком, вдруг заплакала.

— Прости... Мне так тяжело... И некому сказать об этом!..

Я смотрел на нее и думал: так недавно еще ты сидела на этом самом диване, весело смеялась, играя красным шарфом и сверкая в темноте черными бесстыдными глазами, а теперь сидишь и беспомощно, как маленькая наказанная шалунья-девочка, плачешь... Я тихо приблизился к ней и, положив руку на ее склоненную спину, сказал:

— Бедная!..

— Поезжай! — прошептала она, отняв от глаз платок, и неподвижно устремила взор в пространство.

— Теперь — одна! — прошептала она и, встав с места, постояла на пороге.

— Что-то еще я хотела сказать тебе... Забыла... Поезжай!

И вышла, потирая лоб тонкими пальцами.

Я сам запряг лошадь и поехал. И всю дорогу думал о Калерии, о Вовочке, о смерти и о жизни... Летние сумерки на полях, поросших ржаными всходами, безлюдных, бескрайних, во все стороны бегущих до синих и розовых туманов черного неба, пробуждали в душе нежную печаль и желание быть добрым и кротким... Под этим настроением я приехал и говорил с батюшкой, и в первый раз в жизни, не любя попов принципиально, почувствовал в нем доброго, милого старичка, понимающего человеческое горе и желающего утишать человеческие скорби...

Возвратился я ночью. Было страшно в темном море полей, пугали темные колыхающиеся пятна редких встречных телег, пугали шумы то и дело срывавшихся из придорожных трав перепелов, пугали верстовые столбы... Все стоял перед глазами маленький гробик и желтое восковое личико Вовочки, окруженное тремя горящими восковыми свечками... И радостно стало и покойно на душе, когда впереди вздрогнули огни родной усадьбы и потянулись плетни огородов... А когда вдали заляяла Джальма, я почувствовал к себе презрение. «Какой ты, однако, трус! — думал я про себя, распрягая лошадь. — Стыдно, братец!..» Иду мимо

окон зала: все та же сжимающая горло скорбь... Белый гробик, полевые цветы, огоньки восковых свечей и окаменевшая черная фигура с молчаливой скорбью на прекрасном лице...

Похоронили Вовочку около самой церкви, между тремя старыми наклонившимися березами. Мы все ушли, а Калерия осталась и долго не возвращалась в усадьбу. Ей забыли оставить лошадь; она вернулась пешком и заперлась в своей комнате. Было тоскливо за вечерним чаем с тетками и не хотелось говорить. Я бродил по молчаливому залу, где все стояло уже на своем месте, прислушивался к тихому покашливанию прячущейся Калерии. Несколько раз я прошел мимо ее окна и смотрел на опущенную занавеску. Вечером в этот день привезли мне письмо с почты:

«Милый, родной мой! Я безумно счастлива: наконец-то я получила от тебя весточку. Слово чувствовало мое сердце, что есть письмо: сама поехала в волостное правление и, действительно, получила. Прости за упреки!.. Господи, как прыгает у меня сердце! Это от того, что ты любишь... Да, я должна ехать в Казань, я не могу жить с тобой в разлуке... И если папа с мамой будет против... Я убегу из дому. Будь что будет!.. Скоро напишу тебе длинное-предлинное письмо, а теперь нельзя: сижу в правлении и тороплюсь: сейчас мое письмо поедет к тебе. Не тоскуй же, чаще вспоминай меня и пиши! Видишь ли ты меня во сне? Целую, целую и благословляю моего... Догадайся сам!.. Твоя навсегда З.»

Не перечитывал я на этот раз письма и не почувствовал умиления. Почему-то радость письма мне показалась теперь неподходящей. Слово на похоронах кто-то запел веселую песню... Встали в воображении два образа: светлый, радостный, со счастливо улыбкой на лице, весь в золоте бледно-желтых волос, и другой — печальный, с молчаливой скорбью в черных очах, со склоненной головою и опущенными руками, весь в черном сиянии волнистых, непослушных волос...

Любовь и жалость... Где любовь и где жалость? Почему я смотрю на портрет белой девушки, а думаю о черной женщине?.. Неужели... Нет, нет!.. Не может этого быть, не может быть!.. Я люблю тебя, Зоя, люблю, люблю!..

Схватываю портрет и смотрю на него долго и пристально...

Почему ты так грустно улыбаешься, милая белая девушка?.. Ведь ничего еще не случилось. Я люблю тебя! Только тебя... Клянусь тебе в этом... Верь мне!

Продолжение следует.